

Она могла тысячу раз погибнуть на той войне, на которую ушла в 17 лет. А умерла по своей воле в гараже на даче осенью прошлого года, приняв снотворное и включив в машине выхлопной газ.

Самоубийство поэта... Мы помним Есенина, Маяковского, Марину Цветаеву. Когда поэт сам решает уйти из жизни, значит, в ней что-то очень неблагоприятно.

Вот и Юлия Друнина. Прошли месяцы после ее трагической гибели, а с необыкновенной, жгучей тревогой, как и в первые дни, звучит все тот же вопрос: почему? Почему она решила на это? Вопрос такой — в сотнях читательских писем, приходящих в редакцию.

Ответить трудно, а может быть, — с исчерпывающей полнотой и абсолютной точностью — даже невозможно. Однако версии ответа, пусть приблизительные и субъективные, пусть в чем-то несовершенные, возникают. Я рискую предложить одну из версий, основанную на личных впечатлениях, на беседах с близкими Юлии Владимировне людьми.

«...В котлован,
Где бульдозеры спят,
Собираются
мертвые однополчане —
Миллионы убитых солдат.
Миллионы на марше,
За ротою рота,
Голоса в шуме ветра слышны:

«Почему, отчего
Так безжалостно кто-то
К ветеранам

великой войны?
Дайте, люди,
Погибшим за Родину

слово,
Чутко вслушайтесь
В гневную речь.
Почему, отчего
Убивают нас снова —
Беспощаден бездарности меч...»

МЫСЛИ о прошлом, которое многими полностью перечеркивается сегодня, вольно или невольно перекликались у нее с

ленный и зримый результат. А здесь такового не было. Вот и терзалась она, переживала всей душой. Сперва от депутатских денег отказалась: за что они? А потом и вовсе заявление подала о выходе...

Эх, если бы все у нас с такой ответственностью относились к своему долгу — служебному ли, семейному, нравственному! Со всем другой, думаю, была бы тогда наша жизнь, да и все отношения между нами были бы другими. Максимализма такого честного многим из нас сильно не хватает.

Заметим, честный максимализм, а точнее — максимализм честности. Не он ли позвал ее в авгу-

сто недель, пережить разочарование тем, чем, кажется, только что была всепоглощающе очарована? Я не считаю тех недель, потому что не знаю, как происходил в ней труднейший процесс пересмотра ценностей и охлаждающего отрезвления. Невидимым был этот процесс и для ее близких. Но что он происходил — несомненно.

Уже тогда, когда шла в газету ее последняя статья, посвященная во многом августовским событиям, защите «Белого дома», она вдруг стала говорить, что «как-то не так» оборачивается все вокруг.

— Невыносимая жизнь, скверная. А я думала, что будет просвет.

внутреннему голосу, позвонил ей и искренне извинился. Она сказала коротко: «Спасибо. Хорошо, что позвонили». И я понял, что для нее это было безразлично, даже важно, что грубость моя невольная глубоко задела ее.

ИЗ РАССКАЗА БОРИСА АФАНАСЬЕВА: «Да, при всей своей энергичности и оптимизме она была очень ранимым, каким-то незащищенным человеком. Я позвонил ей дня за два до смерти и почувствовал, что она сильно мучается происходящим в нашей жизни. Услышал от нее и про тот самый бардак, и про бессоницу. Чем помочь ей? — думал я. Чем помочь? Мы договорились обязательно встретиться в ближайшие дни. Увы, встрече уже не суждено было состояться».

Поэтесса Татьяна Кузовлева привела в «Литературной газете» предсмертную записку, адресованную ее мужу — поэту Владимиру Савельеву. Вот строки из нее: «Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл».

Когда-то этим тылом был Алексей Каплер — талантливый кинодраматург и любимый, любящий муж. Но его она похоронила в Старом Крыму, где и себя завещала похоронить. Другой же такой любви в мире для нее не оказалось. И получилось, что осталась она с ужасным, передравшимся миром один на один.

И ВОТ ушла. Не выдержала сердце — разорвалось. От жестокостей нашей жизни. Вдумайтесь: какая же действительно жестокая и беспощадная у нас сегодня жизнь, если поэт, столько перенесший на своем веку, предпочитает убить себя, но не оставаться в ней больше.

Всегда драматично, если уязвимая душа поэта больно ранится, столкнувшись с неустойчивостью и несправедливостью жизни. Честно говоря, я считаю, что она, фронтовичка, должна быть более выносливой к любым испытаниям, которые посылает судьба. Однако в последнюю нашу встречу нечаянно проговорилась, что уже много лет не может жить без снотворных и успокаивающих таблеток: измучена бессонницей.

Был и еще один момент, который повернул ее ко мне совершенно неожиданно с другой стороны. Вычитывая полосу со своей последней статьей, она несколько замешкалась при сокращении («о-вишних») строк, и я, торопя ее, сорвался, повысил голос. Тут же увидел, как она нервно изменилась в лице. Но впопыхах не придавал значения. А вечером, поившись какому-то настойчивому

Кто убил Юлию Друнину?

«Не могу оставаться в этом ужасном, передравшемся мире»



Владимировну в такое смятенное состояние, близкое к шоковому, как утверждение, что воевали мы зря. Известная, ставшая почти расхожей байка о том, что, если бы не победили в свое время, давно пили бы прекрасное баварское пиво и не знали никаких забот, раздражала ее до предела.

— Как можно такое говорить? — возмущалась она. — А не скорее бы изо всех нас мыла надела?

Потом, уже после ее смерти, я познакомился с ее одноклассниками, двумя Борисами — Кравцовым и Афанасьевым. И они то-

же подтвердили, как «зациклена» была Юлия на этой теме. Борис Васильевич Кравцов, кончивший войну начальником разведки дивизиона и ставший затем юристом, — Герой Советского Союза.

ИЗ РАССКАЗА БОРИСА КРАВЦОВА: «Вы знаете, у нас создан московский клуб Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы трех степеней. И вот — случай, который буквально потряс Юлию, когда она о нем узнала. На одного из членов нашего клуба, который только что выписался из госпиталя и, опираясь на палочку, возвращался домой, напала группа подростков. Избили, сорвали героическую звезду. Да еще кричали всякие оскорбительные фразы. Это ведь стало таким распространенным — оскорбления в адрес армии и особенно ветеранов! Когда я Юле про этот случай рассказывал, верите ли, у нее слезы на глазах появились. А это редкость для нее — слезы при людях».

В беседе той нашей я упомянул: многие мои товарищи говорят, что лучше бы мы погибли тогда, чем дожить до такого. Юлия слушала, слушала, а потом сказала: «Знаешь, я их очень понимаю».

Итак, не случайно, не ошибочно мне показалось, что раскаленным взором пронизывали ее страшная боль и горькая обида за свое поколение — поруганное, оплеванное, оскорбленное. Жило это и в ее стихах, прорываясь порой такими пронзительными строчками, как в знаменитом «Нет Поклонной горь»: мыслями о преобразованиях нынешнего дня. Она, я бы сказал, пристально всматривалась в эти перемены, считая некоторые из них просто необходимыми. Но... Как передать то сложнейшее перелетение радости и досады, удовлетворения и негодования, которые то и дело слышались мне в ее признаниях?

Может быть, одна из кульминаций этого сложного душевного процесса — ее решение выйти из Верховного Совета СССР, в чем она признавалась мне, когда это решение стало в ней только-только обозначаться.

— Я не могу больше, понимаете, не могу, — говорила она даже с каким-то несвойственным ей надрывом. — Ну зачем я там? Что могу сделать? Какой толк от всей нашей говорильни, если ни на что в жизни она не влияет и все идет себе своим чередом?

ИЗ РАССКАЗА БОРИСА АФАНАСЬЕВА: «Юлия несколько раз жаловалась мне на безрезультатность своих усилий в Верховном Совете. Дескать, и попала туда как кур в ощип — выдвинули заочно в Комитете советских женщин. Мне-то всегда казалось, что эта неудовлетворенность у нее — в основном от особой совести и присущего ей максимализма: если уж делаешь что-то, обязательно чтобы был немед-

сте 91-го к «Белому дому»? Она рванулась туда не как некоторые предприниматели — защищать по сути свое нажитое. У нее и нажитого-то не было. Она, как и тогда, в 41-м, шла защищать идею справедливости и добра, которая казалась ей воплощенной в Ельцине, в новой российской власти. По крайней мере сама она мне примерно так говорила.

И об этом была ее поэма, написанная под свежим впечатлением от событий. И о том же — последняя статья в «Правде», которая называлась «В двух измерениях». Это два измерения жизни и времени, в которых она жила: военное и сегодняшнее. А в связи с тремя днями, проведенными у «Белого дома», вспомнились ей слова популярной лирической песни: «Три счастливых дня было у меня...»

Таким сильным и высоким оказался в те дни ее душевный подъем! В чем-то, наверно, она почувствовала себя снова девчонкой военных лет. Эта романтика: востры, греющиеся вокруг них парни с девчатами, дух обороны... По-моему, трудно ее понять, выравнувшуюся из будничной прозы жизни к чему-то возвышенному и рискованному, освященному идеей свободы.

Но... Вот опять это «но». Я спрошу себя и вас: а можно ли так скоро, буквально за несколь-

ТАК получилось, что мы встретились с ней несколько раз в течение последнего года ее жизни по делам, связанным с публикацией статей, которые она писала для «Правды». Какой запомнилась? Порывистой, всегда спешащей, вбегавшей в редакционный кабинет, разметав шарф и распахнув кожаное пальто, которое тут же летело в кресло. И — скорее за стол: читать гранку или черновую газетную полосу. Только потом, когда срочное бывало сделано, она, иногда кое-как перекусив в буфете, позволяла себе просто поговорить. Это были разговоры о всяком и разном, но, естественно, прежде всего о жизни нашей в тот прошедший год. Жизнь эта крайне ее волновала.

Помню, меня в свое время несколько удивило, сколь легко она, известный поэт, согласилась написать публицистику для газеты. После, когда мы уже не раз поговорили, причем, как мне казалось, начистоту, достаточно откровенно, я больше не удивлялся. Мне стало совершенно ясно, что этот человек настолько остро переживает все перипетии нашего сложного и взвиренного бытия, так близко к сердцу их принимает и так нестерпиво хочет поделиться своими мыслями о них с многочисленным читателем, что прямо публицистическое слово оказывалось здесь наиболее подходящим.

Главной темой из вороха тем, затрагиваемых тогда в беседах, было, пожалуй, соотношение нашего прошлого и настоящего. Понятно: она считалась (да и была, разумеется) поэтом-фронтовиком, а фронтовые годы подтверждались все большему пересмотру.

— Вот купила газетку. «Начало» называется. Статья: «Кто победил под Москвой». А в журнале «Столица» еще более прямо: «Разгром советских войск под Москвой». Что вы думаете по этому поводу?